

газета «Веч» 7 мая с 1, 4
Окуджавы Булат

7.05.04

“Нельзя хвастаться тем, что ты дышишь”

к 80-летию Булата Окуджавы

В воскресенье, 9 мая, исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося поэта и композитора Булата Окуджавы. В канун этой даты Газета публикует сокращенный вариант интервью, которое прежде никогда не печаталось в России (за рубежом публиковались лишь отдельные его фрагменты). Эта беседа известного правозащитника Юрия Глазова с Булатом Окуджавой была записана в феврале 1991 года в Переделкино.



Фотограф: Вадим Крохин

Прежде всего несколько вопросов о том, что происходит в стране. С одной стороны, положение довольно скверное. Идут разговоры о дальнейшем поправении в обществе, а с другой стороны, жизнь продолжается.

Конечно, процесс идет. Он очень затруднен. И потом он будет сопровождаться взлетами и падениями. Но вернуться к прошлому, конечно, нельзя. Это невозможно. Но будет и кровь, и пот.

Поговаривают даже, что реставрируют лагеря, хотя сам я считаю такие разговоры проявлением паники.

Да, я слышал об этом. Но думаю, что их не реставрируют. Они всегда были. Они всегда были.

На протяжении нескольких десятилетий, Булат, вы меня интересуете не только своим творчеством, но и как личность. Некоторыми вашими поступками я живу... Например, ваша защита крымских татар. Вы мужественно выступили недавно по поводу литовских событий, назвав действия нападающей стороны преступлением. Одним из первых в этой стране вы вышли из партии.

Это не поступок. У меня есть интеллигентные друзья, члены партии, которые ненавидят эту систему, партию. Все это ведь продолжается семьдесят с лишним лет. Правда, вот сейчас многое опять меняется. Партия оправилась от шока, и уже начались разговоры о том, что нечего тут — многопартийности всякие.

А у вас нет страха? Нет!

Совсем? У меня просто есть отвращение.

Страшная страна!

Страна страшная. Ведь страх этот испытывают люди всю жизнь. И у меня он тоже существовал, да.

Вопрос на важную для вас тему. Когда случилась трагедия с родителями, а про-

изошла трагедия, вам было тогда всего тринадцать лет. Репрессировали моего отца, пятерых дядев, тетю и мать. Девятнадцать лет она просидела. Это, конечно, трагедия.

А вы пошли на фронт добровольцем, да? Вам было тогда семнадцать лет. Вы были ранены?

Я был ранен. Я был солдат. Я пошел добровольцем не в поисках приключений, а воевать с фашизмом. Совершенно сознательно. Лет десять или пятнадцать назад я встретился со своей очень близкой американской приятельницей. Мы гуляли по Москве, и она меня спросила, почему я пошел воевать. Я сказал ей: «Я пошел воевать с фашизмом». Она посмотрела на меня как на идиота. И только сейчас я начал понимать, что я сам был фашистом. Зачем же я пошел воевать против фашистов, если мы сами были фашисты? У нас был фашистский режим. Я этого тогда не понимал. А она понимала прекрасно и удивлялась, когда я бил себя кулаком в грудь и объявлял, что пошел бороться с фашистами.

Я хочу задать вам трудный и, может быть, неправомерный вопрос. Когда вы уходили на фронт, не было ли у вас такого чувства, что вы — дитя репрессированных родителей, и не жило ли поэтому где-то внутри у вас желание оправдаться в глазах властей?

Нет, нет. Я был очень красный молодой человек. Очень. Я считал, что раз мои родители арестованы, то в лучшем случае произошла ошибка, которая выяснится, а может быть, они и виноваты, потому что наши чекисты не ошибаются. Так было. На войне я уже кое-что начал понимать...

Булат, а как это можно объяснить, что у вас есть мрачность и пессимизм, а вместе с тем вы, я бы сказал, неизменно веселый и жизнерадостный человек? Я грустный оптимист.

Но жизнь вы любите? Конечно, очень люблю.

Вы могли бы признать себя христианином?

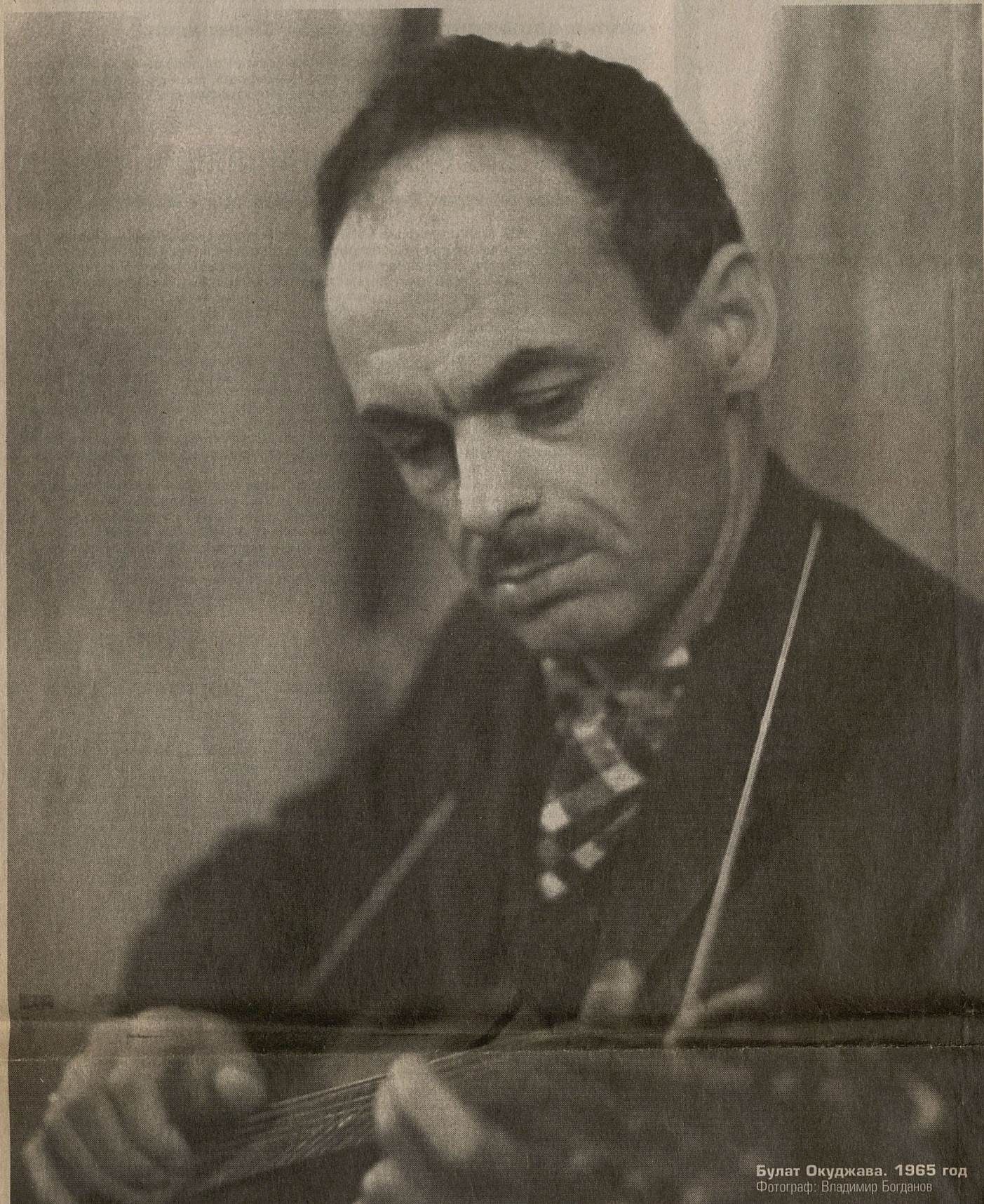
Понимаете, это сложный вопрос, потому что я был воспитан в стопроцентном атеизме, и это вошло мне в кровь. Жена моя верующая, и давно. Она очень сожалеет, что я не... Понимаете, какая штука. Я несколько раз пытался произвести переворот в самом себе. Но это мне не удавалось. Какие-то качества, заложенные во мне природой, видимо, как-то соприкасаются с христианством. Потому что не случайно многие считают меня глубоко верующим человеком. Это натурально во мне существует, хотя я очень скептически отношусь к Церкви. Не к религии, а к Церкви. Особенно Православная церковь мне несимпатична. И дело даже не в этом. Просто я не люблю эту пышную обрядность, позолоту, мишуру, этих невежественных священников, которые ходят с этими крестами. Мне это неинтересно. Для меня это примитивный театр такой, балаган. Другое дело церковные песнопения — их я могу слушать без перерыва. Я с умилением смотрю на людей верующих и молящихся. Это — да. Вот, например, я недавно был в Финляндии и посетил протестантскую церковь. Там никого не было. Службы не было. Это было пустое помещение со стеклянной стеной, которая выходила в густой лес. И когда я сижу... и на молитве, я смотрю вот на этот лес. Никаких икон, ничего, вот эта строгость и этот лес глухой. И я подумал, что если я когда-нибудь решусь... прийти в храм, когда-нибудь, то я стану протестантом. Потому что вот эта строгость мне по душе.

Мне кажется, что у вас есть собственное место в интеллигенции в этом обществе. И трудно назвать другого человека в этом обществе, который бы играл роль, близкую вашей. Ведь вы тут, простите, чуть ли не «священная корова»? Был, был. Сейчас нет. Круг почитателей моих остался, интеллигентных людей. Но никакого ажиотажа сейчас нет. Потому что сейчас новое время, новые песни. Наоборот, я скажу даже, что мною стали интересоваться больше молодые люди. Неожиданно совершенно.

«Что-то такое произошло в моей жизни, что заставило меня учить, обучать себя самоиронии, понимаете? И я это выработал в себе и очень горжусь этим. Да, да. Не считать, что каждая моя строка осчастливила человечество»

“нельзя хвастаться тем, что ты дышишь”

к 80-летию Булата Окуджавы



Булат Окуджава, 1965 год
Фотограф: Владимир Богданов

401 СТР
Ведь вы оказались создателем целой школы бардов?
Ну да, и не дай Бог вообще-то! Я не люблю ужасно это движение. Это стало массовой культурой. Все это неинтересно. Эстрада. Нет, нет. Потому что эта авторская песня рождалась на московской кухне, понимаете, среди пяти-шести единомышленников, мыслящих людей. Это была какая-то исповедь. А потом она вышла на широкий простор. Стала упрощаться. Она стала забываться о популярности. Все это потеряло смысл вообще.

Мы же раньше говорили, что в начале вашего творческого пути известную роль сыграл Евгений Евтушенко, не так ли? Отношения с ним, я думаю, у вас сохранились?
Да, Евтушенко... Конечно, я к нему очень по-доброму отношусь, хотя, может быть, близкой дружбы нет, потому что мы совершенно разные люди. Он талантливый человек и добрый. Но не все понимаю.

Эрнст Неизвестный сказал в свое время о нем, что у него принцип: шаг вперед, два шага назад.
Есть, это у него есть.

А вместе с тем у Евтушенко, мне кажется, есть любовь. И есть любовь к родному краю, да?
Да, и к людям также. Это добрый человек. Он стилизматом помогал всегда. В отличие, допустим, от тех, кто холоден, расчетлив, неискренен.

А как можно заниматься поэзией, если человек лжет?
А какая поэзия? Что у такого поэта сейчас? Ничего. Так, всякие построения мысли. Страдания нет, ничего нет. Все придумано. Имя есть только, вот и все. Но для меня Бах-хит Кенжеев и Лев Лосев — настоящие поэты, значительное явление.

А кто вы сами, Булат? Как вы понимаете себя, свою личность? Ведь приходит возраст, когда начинаешь оглядываться назад, в прошлое. Мне очень не по душе любой национализм, но ведь в вас много кровей. Хотя мне кажется, что вы — яркий представитель русской интеллигенции.
Мне самому об этом сложно говорить и неудобно как-то. В общем я себя причисляю к представителям русской интеллигенции — поскольку я воспитывался на русской культуре. Для меня это самая большая ценность. Армянского, к сожалению, я не знаю.

От одного из наших общих парижских знакомых я слышал, что Солонухин ему говорил: «Россия пропала!» Да он и писал об этом.
Мне неудобно на эту тему разглагольствовать... Думаю, что Россия пропала не только с легкой руки большевиков. Она начала пропадать давно уже. Этому разные силы способствовали. Постепенно, постепенно, да еще и большевики приложили руку. Доконали. Знаете, не может существовать государство, нация, народ, объединенные только одной патриотической идеей. Должна быть какая-то другая

серьезная цель, что-то другое должно объединять, такое большое общество. В одном интервью я сказал, почему это все время кичится патриотизмом. Что такое патриотизм? Это биологическое чувство, присущее даже кошке, которая любит свой дом, свое место... Или голубю. Ну, тут началось просто страшно. На меня набросились. Как я мог патриотов сравнить с кошками? Идиоты!

На Западе довольно широко распространены афоризмы, восходящие к высказыванию Сэмюэла Джонсона: «Патриотизм — последнее прибежище негодяя».
Да, я слышал об этом. Нет, пожалуйста, любите свою родину. Свой двор, свой дом, но не кричите об этом и не хвастайтесь этим. Нельзя же хвастаться тем, что ты дышишь. Вообще все эти заявления мне очень подозрительны. Как в любви к женщине громкие восклицания, так и в любви к родине и к народу. Надо молча все это. Любим? И любви! Нельзя кричать об этом, размахивать руками. Так же как и некоторые, вновь посвященные в религию, к которым вообще у меня отвращение. Которые, понимаете ли, не верили в Бога, а вдруг теперь на каждом шагу молятся, шепчут что-то и говорят только о Боге. Ну что это такое? Я знаю верующих людей, которые об этом никогда не говорят. А веруют, про себя веруют.

Что касается русской интеллигенции, можем ли мы говорить, что она все еще существует наряду с тем, что существует советская интеллигенция? Русскую интеллигенцию ведь тоже привели в порядок...
Понимаете, какая штука. Прежде всего у нас очень превратное представление о слове «интеллигент». Это все то же большевистское изобретение, когда у нас делили народ на рабочих, крестьян и интеллигентскую прослойку. Чуть собачья все это! Интеллигенция — это же не профессия. Интеллигентность — это состояние духа человека, имеющее свои определенные качества, свойства. Интеллигентом может быть рабочий человек и может не быть дипломированный профессор, а быть жлобом. Понимаете? Они никак этого понять не могут. Они считают, по старой большевистской традиции, что всякий человек, окончивший техникум, уже интеллигент. Как по телевизору заявил один болван майор: «Я интеллигент, потому что я майор!» Ну понимаете, ну что ты можешь сделать? И смека не вызвало среди окружающих. Поэтому что касается русской интеллигенции, то этот слой мыслящих людей — я думаю, что над ними тоже очень хорошо поработали. Они ведь тоже стали советскими людьми. Всех, кто мало-мальски сопротивлялся, уничтожили. Сегодня они говорят: русская интеллигенция... Есть какая-то категория отдельных людей.

Я бы хотел повернуть наш разговор по линии вашей биографии и вашего писательского облика. Как мы уже говорили, арест родителей — простите меня, их уход из жизни — остался глубокой травмой для вас?
Еще бы. И даже не потому, что я потерял родителей, а еще и потому, что мои родители,

замечательные коммунисты, оказались японскими шпионами. Вот что было самое страшное.

А вы вот теперь уже не коммунист и не марксист, в то время как ваши родители были таковыми. В жизни других людей это же было.
Я сейчас в сложнейшей ситуации. Я пишу автобиографический роман, повесть о детстве, где фигурируют мои молодые, юные отец и мать. Оба они — фанатичные большевики, честные, бескорыстные, бескорыстные. Я их очень люблю, и я их описываю. И вместе с тем я все время стараюсь показать, что они были участниками, слепыми участниками этого преступления, которое совершалось.

Кстати, откуда идет ваша проза — Пушкин, Паустовский?
Нет, мой учителя в прозе — это Гофман, Пушкин, Толстой, Набоков.

Гоголя вы не называли?
Нет.

А Набокова любите?
Да, почти всего. Он меня восхищает своим риском.

Достоевского вы не называли. Он вам чужд?
Я к нему отношусь с большим пиететом, но среди учителей своих не числю. Он великий писатель, конечно. Этого я отрицать не могу. Но не мой. Не мой. Знаете, как говорили: великий, прекрасный, но не мой. А этот не очень великий, но мой.

Годами я занимался Достоевским, а у Пушкина я влюблен в «Пиковую даму», которую читал много-много раз. Вы любите «Пиковую даму»?
Конечно. Но у Пушкина я не люблю его такие замечательные произведения, как «Борис Годунов», «Маленькие трагедии». Когда Любимов ставил в своем театре «Маленькие трагедии», меня приглашали на премьеру, и я высказался...

А как вы знаете, что вы правы или не правы? Как вы знаете, что завтра будете отстаивать то, что утверждаете сегодня?
А разве я говорю, что это плохое произведение? Я не определяю качество вещи. Наверное, это великое произведение. Но я его не воспринимаю. Это не для меня. Я, например, совершенно равнодушен к скульптуре и к балету. Абсолютно! Я не могу пяти минут высесть на балете. Мне скучно, мне неинтересно. Оперу могу слушать без конца, симфонические концерты — без конца. А балет мне неинтересен.

Очевидно, что за многие годы вы научились доверять себе. Существуют мысли, которые по-прежнему воспринимаются другими, но вы-то знаете, что ваши мысли — такие-то, их можно высказать и отстаивать.
Я никогда не отстаиваю. Я не высказываюсь. Это я вот с вами сейчас. Потому что несколько раз на выставках я говорил о том, что вот это замечательно. Мне же говорили: «Как тебе не стыдно? Это же кошмар какой-то!» Или я говорил: «Это ужас-

но!» А мне говорили: «Как тебе не стыдно? Это же последнее слово!» И я решил молчать. Ну его к черту! Мне нравится, я смотрю. Мне не нравится, я не смотрю! Я перестал высказываться.

Я бы хотел коснуться темы женщины в вашем творчестве. Как вы воспринимаете эту сторону жизни: по-пушкински, по-пастернаковски — «Быть женщиной великий шаг, сводить с ума — геройство»? Или ваше же — «Ваше величество, женщина!»
Я должен вам сказать, что во всех моих стихах, там, где есть женщина, ни одно из этих стихотворений, ни одна из строчек не взята из конкретной реальности. Берут мои стихи о женщинах и начинают думать, к кому это имеет отношение. Нет, я никогда не писал конкретно. Даже очень любя женщину, я никогда конкретно о ней не писал.

Вернемся к вашей юности. Вы пропахали все четыре года войны, да?
Не фронт я ушел после девятого класса школы. И почти все время был там. Почти. Незадолго до конца войны меня положили в госпиталь. Я там провалялся. Потом вышел из госпиталя уже в начале сорок пятого года. И после длительного пребывания в госпитале получил трехмесячный отпуск. Приехал в Тбилиси к тетке. Там у нее встретил окончание войны. Когда я был в этом отпуске, я экстерном закончил десятый класс.

Вы возвращаетесь в жизнь, и до смерти Сталина...
Сорок пятого года по пятидесятый я учился в университете на филологическом факультете...

И вы в это время все еще вполне советский человек?
Да. Нет, у меня уже всякие сомнения начинаются. Не то что антисоветские, а я начал понимать, что Сталин, Берия, этот режим что-то себе позволяет. Ну, в общем, начались колебания.

Но вы в партию еще не вступали?
Нет, я в партию вступил в период XX съезда, когда вернулась моя мать, и это было как подарок ей. Я тоже надеялся, что теперь все переменится, а через год я понял, что все это не так.

Что заставило вас задуматься?
Первое, что меня заставило задуматься, было очень давно. Потом это прошло, развеялось. Первый толчок был чуть ли не в тридцать пятом году, когда я увидел... под Нижним Тагилом людей, которые где-то работали: клали рельсы, шпалы, тут же жгли костры, ели травяные лепешки... Потом это развеялось, а затем вспыхнуло снова.

А смерть Сталина? Вы не плакали?
Ну, нет. Надо сказать, к своей чести, хотя я писал стихи, я ни одной строчки не посвятил Сталину, а я любил его, как все, и верил. Но ни одной строчки у меня не родилось почему-то. И дома у нас, даже моя тетка, которая ненавидела Сталина, как выяснилось потом, говорила при мне о нем только с обожанием. И смотрела на меня с ужасом, чтобы у меня не было никаких колебаний и сомнений.

У вас есть дар пророчества, Булат?
Нет. Абсолютно. Я не политик. Я очень большой дилетант в этих вопросах. Сейчас я очень политизировался и даже пытаюсь создать свою собственную концепцию...

Мне кажется, что вам удалось сохранить скромность.
Это не скромность. Просто понимаю, какая штука... Я был очень самовлюбленный юноша, очень. Тетка меня хвалила, мои стихи, у меня кружились голова, и все это было. Я все это прошёл. Но что-то такое сыграло, что-то такое произошло в моей жизни, что заставило меня учить, обучать себя самоиронии, понимаете? И я это выработал в себе и очень горжусь этим. Да, да. Не считать, что каждая моя строка осчастливила человечество.

Александр Мень, мой покойный друг, говорил, что в пятьдесят третьем году, когда умер Сталин, кончилась эпоха, умер дух и воскресить этот дух больше нельзя. В те дни, быть может, я так не думал, но слез не лил и внутри почти радовался. А какие чувства были у вас?
Нет, радости у меня не было. Была тревога по поводу того, что будет дальше. Но потом я увидел, что наши замечательные вожди нас поведут. Но то было далеко от меня. Я жил бедно, трудно.

А что, простите, значит бедно и трудно? Была просто нищета, да?
Конечно. Я был учителем в деревне. Зарабатывал в месяц 70 рублей. Да, я был женат, и моя жена, тоже учительница, получала 60 рублей. И мы должны были снимать комнату и жить на эти деньги. Еще брат мой младший у меня жил. Надо было его кормить.

Как же, правда, вы жили на такие деньги? Ну, вот как мы жили? Я даже не знаю, как. Ели картошку одну... Картошку ели, и все...

В жизни Ахматовой был такой период: несколько картофелин и пара селедок, и так на две недели... А в ту пору Ахматова, Мандельштам, Пастернак уже играли какую-то роль в вашей жизни?
Пастернак.

Вы были с ним знакомы?
Очень шапочно. Его очень критиковали в ту пору, били. Тбилисские писатели тогда его пригласили к себе... Ну, в общем, я к нему пришел, он меня принял. Я читал ему свои кошмары, и он слушал. Но он очень невнимательно слушал, смотрел в окно, и так ничего и не сказал. Поэтому, это не привело к моему впечатлению. Я сказал ему, что хочу поступить в Литературный институт. Он сказал: зачем в Литературный, лучше учиться на филологическом факультете университета. Я, ну, все-таки. Он сказал: знаете, Литературный институт была гениальная ошибка Горького. На этом и кончился наш разговор, я ушел и больше его не видел. Потом был на его похоронах...

А как вы относитесь к Цветаевой?
Я начал с очень жаркой любви, когда она возникла в моей жизни, но потом я очень быстро остыл. И я сейчас, отдавая ей долж-

ное, понимая ее грандиозность, должен сказать, что она не относится к моей любви. Мандельштам — да! Ахматова — очень! В Цветаевой мне не нравится элемент какой-то литературности.

Какое впечатление произвела на вас речь Хрущева на XX съезде в 1956 году? Я купился. Теперь я понимаю, что это была попытка укорить Сталина, не больше.

Но это было для вас большим потрясением?
Да, тогда это было, конечно. И радость была. Радость, что выяснилось наконец-то, что мои родители не виноваты.

Но с мамой своей вы поддерживали контакт во время ее заключения?
Да, было право переписки. Писали друг другу такие формальные пустые письма. Я писал о том, как я «замечательно живу» и как «у меня все хорошо», хотя все было плохо.

В каких местах мама находилась? Сначала она была в лагерях в Карагандинских лагерях. Потом ее освободили, но без права проживания в городах. Она год прожила «на воле», и ее снова арестовали и отправили на вечную ссылку.

Как вы встретились после всего? Мы встретились один раз после того, как она вернулась. Мы встретились после десяти лет. У меня даже есть рассказ на эту тему, как мы встретились. Это было смешно вообще.

Мой отец умер в тридцать седьмом году при странных обстоятельствах, когда мне было всего семь лет. А я всю жизнь что отца и все стараюсь ему угодить. И вы тоже старались? Родители были как-то неподалеку от вас?
Нет, я был брошен родителями. До ареста я был брошен. Я был на руках бабушки и тетки. А моим родителям было не до меня. Они круглые сутки работали. А потом, когда мама вернулась, через двадцать лет, у нее было чувство вины передо мной и перед братом. И она делала все возможное, чтобы реабилитировать себя в наших глазах, старалась быть матерью.

Удалось ей это?
Конечно, удалось. Она старалась, и удалось.

Наверное, венгерские события 1956 года вас глубоко ранили?
Конечно, тогда я был уже совсем зрелым.

Но все-таки началась «оттепель», и это было начало вашей деятельности? В пятьдесят шестом году я начал. Вышел в люди, так сказать.

Было время, когда на Западе выпустили несколько ваших книг, и на вас оказали здесь нажим. Сильно на вас нажимали? Нет. За издание их не нажимали. В том-то и дело. Прошло пятнадцать лет после их публикации. Меня вызвали и потребовали, чтобы я ответил на предисловие. А чего отвечать? У нас же они не вышли. Ну, все равно, говорят, так надо, так надо. Я сказал, что не буду. Тогда собрали партком, шесть часов меня обсуждали и исключили из партии.

Это в том же самом дубовом зале? Да. Через год меня приказали сверху опять включить. Ну, восстановить. И тот же партком, и те же пятнадцать человек, которые меня поливали грязью, говорили обо мне теперь такое, что я чуть ли не в полуобморочном состоянии был, так они меня расхваливали.

А почему вас восстановили? Это, я думаю, Запад сыграл свою роль, потому что, как мне рассказывали, приехала по приглашению ЦК большая делегация очень крупных партийных деятелей Запада, и все стали спрашивать, почему меня исключили. И там, наверху, очень удивились

и сказали: «Да нет, не исключили, просто у него были там всякие нелады, да нет, что вы...» Как это бывает. Потом позвонили и сказали: надо включить. Ну вот меня и включили.

Но и до этого вы побывали изгоем? Да, был. Прежде всего как автор песен. Это было трудно. А то, когда исключили, это уже было привычно. Потом мне нужно было написать в газете какое-то покаяние. А я не знал, как писать. Я не хотел. Я сказал своему приятелю, и он мне написал. Он мне написал общие фразы. Ничего конкретного. Когда я принес это в газету, мне сказали: «Да что это вы такие позвонили-раз?» Я ответил: не хотите — не печатайте. Вот так. А они хотели очень, поэтому опубликовали.

У нас с вами есть общий приятель, Феликс Светов. В прошлом году в «Литературной газете» он опубликовал статью, где писал, что диссиденты забыты и «ночь после битвы принадлежит мародерам». Вы думаете, есть известная правда в его словах?
Думаю, есть. Вообще-то диссидентство не забыто, оно в истории, оно свое дело сделало, и оно будет существовать. Но в публике оно забыто, потому что публика занята собственным редемо. Ей не хочется говорить о диссиденте. Теперь каждый считает себя героем.

Конец шестидесятых годов — ведь это было потрясающее время, не так ли? Да. Вот сейчас начали поносить шестидесятников. Конечно, шестидесятники не были революционерами, бомб не бросали и на баррикады не выходили. Они просто тихо шушукались, но это шушуканье распространилось в обществе. И они собирались этот режим немножко очеловечить вместо того, чтобы его разрушить. Я думаю, что теперь восьмидесятники пусть разрушают. Зачем же ругать шестидесятников?

А как вы смотрите на западный мир? Наверное, вы любите американцев. Но они же не все способны понять? А кто способен все понимать? Я смотрю на них как на нормальных людей, цивилизованных, со своими недостатками. У них есть достоинства, которые мне очень симпатичны. Здоровье, стабильность. Умение работать. Доброжелательность. А что еще может быть? Мы не умеем ни работать, ни уважать друг друга, понимаете?

После того как повидел Ленинград и Москву, я настроен очень скептически. И перестройка здесь — не настоящая. По-русски есть такое выражение: он ссучился. Я бы назвал перестройку ненастоящей, «ссушенной».
Конечно. Горбачев сначала увидел, что мы катимся в тартарары. Значит, надо что-то сделать. Надо немножко с Западом подружиться. А для этого надо немножко смягчить. Он хотел, чтобы у нас был хороший капиталистический уровень жизни под руководством коммунистической партии, под его руководством. Известно, что это невозможно, и он в отчаянии и потому злится.

Когда вы, Булат, оглядываетесь на жизнь, что вы думаете, как она сложилась? У меня? Я вообще счастливый человек. Несмотря ни на что, моя жизнь была интересной. Я делал то, что я хотел. Что мог, я совершил. Самое лучшее мне еще предстоит совершить.

Газета выражает признательность Галине Корниловой, а также вдове автора интервью, Марине Глазовой, за предоставление текста. Газета также благодарит Владимира Муравина, предоставившего фотографию из личного архива, и авторов-составителей сборника «Голос надежды. Новое о Булате Окуджаве» (Москва, Булат, 2004)



Автор портрета Николай Дронников, 1991